

## ЗЕЛЕНАЯ ЛОДКА С РЫЖИМ КОТОМ

Рассказ

### 1.

Я рано встал, но было поздно.

Росомаха уже съела моего пса. Конечно, верить в это не хотелось, но капли застывшей крови на снегу были несовместимы с надеждой на чудо.

В те ночи было еще не очень холодно, и я, обуреваемый страхом и дурными предчувствиями, оставлял пса на улице, надеясь, что он вовремя предупредит меня об опасности, будь то неожиданный приход медведя или визит незваных гостей.

Оставшись один на один с природой, я очень боялся диких зверей, но людей боялся еще больше, поскольку здесь, где бескрайнее зеленое море тайги переходило в гибельные тундровые просторы, людей, по утверждению охотника Луки, не было и быть не могло. Может быть, охотник Лука говорил об этом столь уверенно лишь потому, что еще в начале лета уловил дыхание страха, укоренявшегося в моей груди. А вот сам я укорениться в старенькой охотничьей избушке так и не смог.

В начале лета мне очень верилось, что тайга и Енисей дадут мне другую жизнь. Я был весь распахнут навстречу этой необыкновенной жизни, потому с первого взгляда влюбился в залитое солнцем зимовье, поставленное на каменистом взлобке, совсем недалеко от гудящей, как поезд дальнего следования, Реки.

В тот день меня радовало все: и подслеповатое окошко из рыбьих пузырей, и дверь, навешенная на крепкую еловую палку, и слегка подгнившие нары, и какая-то необычная печь, и закопченный потолок с едва заметной надписью: «Тоска какая!», и даже царапины от медвежьих когтей радовали меня в тот необыкновенный июльский день.

Помню, оставшись один, я тут же стал чистить стены избушки от наростов зелено-серых мхов и пепельных лишайников. Я срезал их большим охотничьим ножом с восторгом и ликованием, словно выполнял акт некой инициации, где каждый клочок отрезанного мха и лишайника символизировал мои напрасно прожитые годы. Таких годов, упавших на пол моего нового жилья, а затем отправившихся в помойную яму, я насчитал ровно сорок.

Надо сказать, что восторг и ликование возникли во мне сразу же после того, как был куплен этот самый охотничий нож с изображением на его костяной ручке оскаленной морды волка. У ножа, как сказал продавец, была «бритвенная» форма лезвия: обе стороны клинка после обушка довольно резко сходились в одной точке, делая его тонким и опасным, как первый енисейский лед.

Задолго до вылета в Красноярск я пребывал в радостном волнении, представляя, как снимаю шкуры и разделываю туши десятков лосей, бобров, соболей, лисиц и медведей. Я не расставался с ножом ни днем, ни ночью; когда я не спал, он висел на моем поясном ремне, и я то и дело, волнуясь, проводил по нему рукой.

Я ходил по палубе парохода, обрастая бородой, и чувствовал себя человеком, которому все по плечу. Я знакомился с первыми встречными-поперечными, восторгался красотами Севера, хотя речные берега проходили мимо парохода, словно серые будни всей моей предыдущей жизни, а худые искалеченные елки напоминали городскую свалку после отшумевших новогодних праздников.

Между тем Енисей легко, как чужую беду, раздвигал пустынные берега, где все еще лежал лед, становился шире и мрачней, словно уже ощущал приближение своего смертного часа в объятиях Северного Ледовитого океана.

В устье безымянной протоки меня забросили вертолетом, вывозившим из близлежащего района имущество метеостанции. Здесь же, благодаря охотнику Луке, мне удалось значительно пополнить свои продуктовые запасы. В основном это были крупы, но каким-то странным образом на высотном лабазе сохранились сушеные фрукты и почти полмешка желтого слипшегося сахара.

Охотник Лука сдержал слово, данное моему давнему другу, работавшему в Туруханске: он объяснил мне все, что можно было объяснить, и рассказал больше, чем я мог понять. Впрочем, в тот день я был уверен, что без всякой сторонней помощи и водительства смогу начать новую жизнь.

Я не знал законов тайги, но хорошо умел рыбачить, колоть дрова, солить рыбу, печь хлеб, варить варенье и делать соленья. Смешно сказать, но я захватил с собой не только семена томатов, капусты и огурцов, но и десяток метров плотной парниковой пленки.

## 2.

Огородному делу я обучался в маленькой, забытой богом и российскими властями деревне, куда мы с моей возлюбленной убежали в апреле прошлого года. Смех и грех. Из города мы убегали — как будто выбирались из ада. Я сжимал руку возлюбленной и думал только об одном: не оглядываться, ни за что на свете не оглядываться назад.

Успели. Выбрались. Переплыли Волгу — как будто заново родились. Хорошо и грустно. Ни вещей, ни денег. Когда мы от дорогих да хороших бежали, к нам старуха подошла. Говорит: «Все теперь потеряете, ничего не останется». Сказала, хмыкнула и словно сквозь землю провалилась.

Права оказалась старуха подземная. Если говорить о житейских благах, мы все потеряли. Хлеб до последней крошечки подъели. Больше года голодом сидели. Потом моя возлюбленная за смехотворную зарплату в две тысячи рублей устроилась работать продавцом в захудалый магазинчик соседнего села. Стала вставать в пять утра, затем шла три километра по сугробам, по грязи, через зной и ливни на ненавистную работу, чтобы я от голода не умер. Домой вернется — смотреть на нее страшно, а минута-другая, — снова светится. Я по ночам над ней стоял, чтобы видеть, как она светится во тьме. О-о-о! Лежит, невытая, в сто одежек одетая, чешется и чешет, даже там чешет, где у богини никогда чесаться не должно. В те ночи она страшно замерзала, но все равно улыбалась, даже смеялась во сне. Улыбалась она всегда. Деревьям, облакам, бабочкам, снежинкам и всем, кто улыбается ей из другого мира; она живет одновременно там и тут, а я только тут. Хотя моя возлюбленная не хотела в это верить. Когда она спала, я смотрел на нее, поэтому жил дальше.

Стены нашего дома были обшиты дощечками от мебельных поддонов. Каждую ночь я писал на них стихи о любви, просявшей для меня на ненавистной земле.

— Милый, — говорила моя возлюбленная, — сколько дней мы с тобой не купались? Раньше я вообразить не могла, что люди могут чесаться... А теперь... Можно, я при тебе почешусь? Можно, милый?

Когда она спала, я не мог ничего делать. Я, как упырь, стоял над ее постелью. В такие минуты я не замечал, как обрастают инеем стены, обшитые дощечками от мебельных поддонов. Я любовался ею, и, наверное, начинал походить на царя Берендея, в объятиях которого замерзла прекрасная сирота, случайно попавшая в ледяное царство.

В январе того страшного года, когда я понял, что судьба моя решена, выдался вечер, когда сама собой открылась передо мной какая-то книга, в глаза ударила строчка: «Теперь ты не сможешь жить без нее, но и с ней ты жить тоже не сможешь». Пророчество было столь красиво, так подходило ко всей моей жизни, рассыпанной по дорогам, как рождественский снег, разбазаренной на ночные метания и прекрасные порывы, что, помнится, я вышел на улицу и заплакал. Если бы не голоса, зазвучавшие в ту осень в моей голове, если бы не чудесные события, сопровождавшие каждый шаг моей возлюбленной, я бы непременно ушел из жизни, представшей такой ничтожной, такой жалкой, что цепляться за нее могли только мои руки, но не я сам.

В ту осень я особенно остро понимал, что вместо меня на этой проклятой земле живет кто-то другой, другой, совсем другой... Когда он говорил моими губами, мне хотелось зашить рот суровыми нитками. Он глядел моими глазами, и я видел совсем не то, что мог бы увидеть, если бы его не было. Отсюда вытекало все остальное — чужие мысли, чужие привычки, чужие друзья, чужие женщины, родители, дети... И никто на земле, никто и никогда не разделял со мной этой муки. Я ненавидел того, который сидел во мне. Я уничтожал его водкой, табаком, злостью, но он не становился слабее, а я безвозвратно превращался в ничтожество. Я писал книги, мне вручали какие-то литературные премии, но даже к стихам, изданным под моим именем, я зачастую не имел никакого отношения. Во всяком случае, мне так казалось. Жил не всерьез и умру понарошку, думал я в ту осень.

А то, что я намеренно мучил мою возлюбленную, это неправда. Я просто стоял над ней и смотрел, как слезы ее на пол падают и в лед превращаются, и тоже плакал. А потом я шел в кухоньку, студеную, как морг, где установил старую обшарпанную ванну, найденную на сельской свалке, и большим топором колот в ней заледеневшую воду. Летом нам очень нравилось умыться здесь и принимать душ. Но с первыми морозами сливной шланг замерз, мне все чаще приходилось колоть в ванной лед.

В тот поздний вечер я глупейшим образом опустил в ванну с водой кипятильник. Но ближе к полуночи понял, что с таким же успехом можно обогреть своим телом Северный Ледовитый океан. Тогда я стал греть воду сразу в четырех кастрюлях, а в ванну опустил еще один кипятильник. Чтобы вода не так быстро остывала, я собрал в сених и по дому все наши шмотки, натолкав их в пространство между ледяным полом и обшарпанным дном чугунной ванны. В результате в четвертом часу утра я разбудил мою возлюбленную и сказал:

— Ваше величество, вставайте! Горячая ванна готова!

— Капитан! — выдохнула она. — Уходите! Я знаю, что сплю. Вы уже сто раз являлись ко мне во сне с этими словами. Уходите, капитан! Я такая грязная! Как свинья!

Обливаясь слезами, я взял ее на руки и опустил в горячую воду.

— Вот это да! — только и сумела сказать она. — Вот это да!

Через полчаса, пахнувшая дешевым мылом и дешевым шампунем, моя возлюбленная возбужденно пьянствовала чаем из сушеных трав, заводила глаза и с гибельным восторгом смотрела на меня. Потом, из расшатанной холодной кровати, она позвала меня к себе и, прижавшись к моей груди, зашептала: «Милый, сегодня, сейчас! Пока я такая чистая! Я хочу родить тебе необыкновенную дочку!»

Самое страшное время входило в наш домик ранней весной, когда в погребе не оставалось ни одной картошины или морковки.

В обед, когда солнце грело совсем по-летнему, мы вместе с ней уходили на речку, что протекала буквально в десяти минут хода от нашего дома, и здесь боролись за свою жизнь и любовь. Порой на берег приходила целая толпа серых обозленных людей, и я, сгибаемый их взглядами, ходил по груди в воде, вытягивая из глины и черного ила огромные клубни-корневища желтых кувшинок и белых лилий. В то время я подолгу не брился, и моя седая клокастая борода придавала мне вид совершенно конченого алкаша. С высокого берега доносился не только смех, но и оскорбительные и уничижительные реплики. Моя возлюбленная стойко переносила все насмешки и издевательства, смахивая их с себя, словно паутинки, но глаза ее, я видел это один, были тоскливы и черны, как осенние гнезда, прозябшие и вымокшие среди опавших ветвей.

— Что же вы делаете из них? — порой спрашивали нас грозные мордовские старухи.

— Мышей, крыс и злых старух травим, — отвечала моя возлюбленная.

Дома мы очищали клубни от толстой кожуры, похожей на кожу старого моржа, и давали волю своей кулинарной фантазии. Никаких жиров, не говоря уж о сливочном масле, в нашем доме не было, и потому мы готовили еду на костре или варили в воде, заправленной щавелем и молодой крапивой. Однажды моя возлюбленная, не скрывая восторга, прибежала с целым букетом какой-то сверххранной петрушки и немедленно стала делать из нее салат, но вкус этого салата показался нам очень странным. Тогда я заглянул в словарь лекарственных растений, и мы с ужасом, перешедшим в почти истерический смех, узнали, что растение, так сильно обрадовавшее Омелию, вовсе не является петрушкой, а есть не что иное, как знаменитая цикута, оборвавшая жизнь Сократа.

Для всех блюд, приготовленных нами в ту весну, мы придумывали романтические названия: «Печеные кубики из кувшинок», клецки (на сворованных у дикой утки яйцах) «Лилейные гнезда», гренки «Тайна речного дна». Корневища кувшинок были усыпаны маленькими и большими улитками, и мы ели их живьем, затыкая уши пальцами, чтобы не слышать, как они пищат и рыдают у нас на зубах. А еще мы ели топинамбур, вырытый на заброшенном огороде, называя его земляной грушей и радостью богов. И хотя в ту весну нас самым жестоким образом мучили желудочные боли, а десны и небо все чаще опухали и даже кровоточили, мы продолжали жить и любить своего президента (так шутила Омелия). Несмотря на холод и голод, мы кормили земляными червями нашего необыкновенного петуха по имени Феникс, а он, в отличие от других петухов, пел для нас сутки напролет, совершенно не опасаясь, что попадет в ошип.

В тот год я был несчастным и жалким. Как быть, — все чаще думал я, — когда весь мир смотрит телевизор, жрет, сладострастничает, делает карьеру и деньги, пожирает самого себя, а тебе, обыкновенному русскому дураку, зачем-то надо думать о смысле жизни и замирать от страха за несколько шагов от лабиринта Минотавра, понимая, что нынешняя Ариадна подсунула тебе изначально гнилые китайские нитки? Господи, Господи, неужели это судьба, думал я. Неужели у русских людей есть только один удел: смотреть из грязи за предел?..

— Мне плохо, плохо, плохо! — стонал я днем и ночью.

— Чтобы потом тебе стало немножко лучше, нужно, чтобы сначала было немножко похуже, — говорила моя возлюбленная, присаживалась на краешек кровати и запускала свои длинные пальцы в мои волосы. Прикосновение ее пальцев приносило облегчение, но и тревожило тоже.

Все чаще и чаще мое беспокойство достигало такой силы, что я не выдерживал и, бросаясь на кровать, скулил, как последний трус, приговоренный к смертной казни.

Жить мне уже не хотелось. Но однажды моя возлюбленная заставила меня выйти из дома — в черную, беспросветную, жуткую ночь. Помню, мы стили с ней на земле, словно две черные капли чернил на дне черной чернильницы. Темнота была страшная. И тогда моя возлюбленная сказала: «Смотри!» Я поднял голову и увидел, что за болотом, между двух гор светится небо. «Это для тебя, — сказала она. — Теперь так будет всегда».

И действительно, с того дня так было всегда, точнее сказать, почти всегда. Даже когда небо затягивали дождевые или снеговые тучи, между двух гор, как раз против моего дома, светилось небо. Светилось розовым, малиновым и еще каким-то незнакомым мне цветом. Небо светилось почти всегда, наяву предлагая мне осуществление всего, о чем я когда либо мечтал. Фантазии, обрывки снов и кошмаров, полотнища цветного